

Семина Анна Андреевна

МГУ имени М.В. Ломоносова

Москва, Россия

ТВОРЧЕСТВО БОРИСА ПОПЛАВСКОГО В КОНТЕКСТЕ ТРАДИЦИИ РУССКОГО ЮРОДСТВА

Аннотация. В статье рассматривается, как традиция русского юродства преломляется в художественном сознании Б. Поплавского. Парадоксальность мышления, провокационность, неортодоксальность, религиозный максимализм, бунт против красоты и благополучия, стремление к экстазу, аскетизму и отречению от собственного «я» запечатлелись в его статьях и дневниках, в некоторой степени проецируясь также и на поэтику художественных текстов. Метод автоматического письма сопоставляется с юродской глоссолалией – словом сакральным, намеренно затемненным и недосягаемым обывателю.

Ключевые слова: Поплавский, литература русского зарубежья, юродство.

Anna A. Semina

MSU named after M.V. Lomonosov

Moscow, Russia

WORKS BY BORIS POPLAVSKY IN THE CONTEXT OF THE TRADITION OF RUSSIAN HOLY FOOLISHNESS

Abstract. In the article the author researches, how the tradition of Russian holy foolishness reflects in artistic consciousness of Boris Poplavsky. His paradoxical thinking, edginess, unorthodoxy, religious maximalism, the revolt against the beauty and well-being, the aspiration for ecstasy, austerity and self-denial imprinted in his articles and diaries, in some way being projected at his literary texts too. The method of an automatic writing is compared with the glossolalia of a holy fool, which is the sacral word, that is opaque and incomprehensible for a philistine.

Keywords: Poplavsky, Russian émigré literature, holy foolishness.

Наследие Б. Поплавского, который при жизни «коробил многих какой-то дикой смесью самобытности и испорченности» [4, с. 9–10], все чаще привлекает внимание современных исследователей. Уникальность поэта обык-

новенно объясняется тем, что в его творческой лаборатории можно обнаружить органичный синтез русской и французской культурных традиций. В то же время, как пронизательно замечает Ю.В. Матвеева, «зачем-то ему нужно было чувствовать себя русским – богомным, униженным, юродствующим, страждущим. Быть может, “русскость” обеспечивала ему... необходимый ресурс чисто экзистенциальных смыслов» [12, с. 76]. В дневниках Поплавский вскользь упоминает юродивость как органически присущую поэту черту: «... где поэту в своей душе искать истинно-поэтического, ценного? Обычно дается ложный ответ: в прекрасном, стыдясь и чуждаясь своей юродивости и тривиальности» [16, с. 413]. В этой связи представляется, что, несмотря на справедливо отмечаемый исследователями его «религиозный синкретизм» [13, с. 213], самобытность Поплавского и специфика его художественного сознания генетически восходят к православным основам и, в частности, к традиции русского юродства, чьи контуры в его творчестве и судьбе действительно проступают довольно отчетливо. Неслучайно в поздних его стихах различают «больше мистического, выступающего на границе античности и христианства, напоминая о Розанове» [10, с. 614].

Сегодня осмысление феномена юродства, в том числе и в качестве проекции на художественные стратегии писателей, переживает настоящий подъем [14; 5; 7; 8]. Как известно, юродивые публично симулировали сумасшествие, провоцировали окружающих и эпатировали их «нарочитой разнузданностью» [9, с. 7]. Подобные действия были призваны передать человечеству некое иносказательное послание и привести его к покаянию. Наиболее характерными признаками юродского модуса поведения считаются дидактический пафос, зрелищность и протест [15, с. 81]; при этом для достижения благой цели юродивый может вести себя провокационно и даже агрессивно [9, с. 19].

В рецензии на дневники Поплавского Н. Бердяев (которого поэт интересуется «как духовное явление, как крик души, погибающей и спасающейся» [3, с. 445]) говорит о характерной для Поплавского и для его героев «любви к скандалу», которая «есть надежда пережить экстаз, освобождение от всего и всех» [там же]. Поплавский, по представлениям Бердяева, стал «жертвой стремления к ложно понятой максималистской святости» [3, с. 444]; он «хотел жизни по благодати, жизни экстатической» [там же]. Действительно, Поплавский много размышляет об экстазе, особенно в статье «По поводу...» (1930), где, помимо прочего, он рассуждает об экстатической природе творчества как такового: «... экстаз есть правдивая жизнь, экстаз есть долг, и все остальное – ложь. То есть те же вещи и события, но вне религиоз-

ного их ощущения – пустота и нереальность. <...> Может быть, Бодлер находился в мистическо-сексуальном экстазе, Пруст – в экстазе фобическом, Ибсен – в экстазе справедливости, а Чехов – в самом глубоком – в экстазе слез» [16, с. 68]. Смысл экстаза, по Поплавскому, заключен в преодолении страха: «Ибо после известной точки становится возможным осуществить все страшное, все заветное, писать так, как совесть требует, а у мистиков – победить логику – самосохранение ума» [там же]. Экстаз, таким образом, обеспечивает поэту необходимую творческую смелость, ведь «говорить нужно “цинично и с непорочностью”» [16, с. 414]. Трудно не заметить, насколько подобные суждения близки мироощущению юродивого, которому требуется немало мужества и экстатического бесстрашия, чтобы расшатывать нормы благопристойности.

Провокационность была присуща Поплавскому и в быту, о чем красноречиво свидетельствует запись в дневнике от 1933 г.: «И дома лопнуло, провалилось по ничтожному поводу (из-за молока), разбросал мебель, повалился на пол в исступлении, наслаждении, отвращении, отчаянии, пропадай все, странно, сладко даже было лежать среди побитой посуды... лицом на линолеуме среди воды, как в крови...» [16, с. 352]. В то же время эксцентричное поведение было частью его художественной стратегии, ведь символистская идея жизнетворчества Поплавскому очень близка. В воспоминаниях Н. Татищева можно обнаружить суждения поэта о значении эпатажа в пророчестве (и, следовательно, в искусстве, понимаемом им пророчески): «Пророк, который перед началом представления станцует качучу или чарльстон, несомненно, острее поразит, чем тот, который прямо начнет со слез» [16, с. 492].

Провокационность юродивого исследователи возводят к античности, ведь непосредственными предшественниками юродивых были киники [9, с. 27]. Интересно, что Г.П. Федотов отмечает присущий Поплавскому цинизм – который, однако, оказывается для поэта собственной специфической стратегией обретения Бога: «В разложении, в имморализме есть своя негативная мистика, которая может в любой момент обернуться позитивной... До этой огненной точки никто из парижан не дошел. Может быть, Поплавский был всех ближе к ней... Под маской цинизма он воспитал в себе мистика. Он боролся с Богом, с какой-то злобой вгрызаясь в непостижимое, и Бог не давался ему...» [17, с. 20–21] Антиномичность духовного облика Поплавского, о которой рассуждает Федотов, созвучна антиномичной сущности юродивого: он тоже руководствуется логикой парадокса, ведь его миссия заключается в том, чтобы обнажить фальшь массовых стереотипов, «по-

казать, что вроде бы очевидное в действительности обманчиво» [9, с. 7]. Парадоксальность была в высшей степени присуща и мышлению Поплавского, что подтверждается его богатым прозаическим наследием (с характерными, к примеру, такими утверждениями, как его вполне «юродский» тезис о том, что «все люди высшие, и чем ниже и темней человек, тем выше» [16, с. 45]).

В Послании ап. Павла представлено религиозное обоснование феномена юродства: «...кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным... Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом» (1 Кор. 3:18–19). При этом важно отметить, что основная цель усваиваемой юродивым роли безумца – «скрыть от мира» собственное духовное совершенство [9, с. 12]. Чтобы спастись от тщеславия, юродивый совершает действия, которые вызывают осуждение общества, и часто внешне выглядит легкомысленнее и проще, чем в действительности является. Так, современникам были непонятны богатый опыт религиозно-мистических переживаний и напряженная внутренняя работа Поплавского, уделявшего молитве и медитации по несколько часов каждый день. Показательны воспоминания А. Седых: «Жил он больше по ночам, а днем лежал в своей комнате на кровати, лицом к стене. Когда я приходил и спрашивал, почему он валяется без дела, Борис в стенку отвечал:

– Не мешай. Я – молюсь!

Признаюсь, в Поплавском было много порочного и отталкивающего, – его физическая неопрятность и привычка придумывать несуществующие вещи. И за всем этим я, да и не я один, как-то проглядел внутренний мир этого человека, его постоянную и страстную борьбу с самим собой, его богоискательство и трагический тупик, в котором Поплавский, в конце концов, очутился» [4, с. 85].

Часто в дневниках и статьях Поплавский рассуждает в духе поистине юродского страха перед грехом тщеславия: «Как стыдна святость и как далек еще мой вечный идеал – Мистический интегральный нюдизм» [16, с. 134]. По-видимому, в этом идеале можно различить черты юродской наготы, юродского бесстрастия – и экстаичности, которая делает их возможными. Как отмечает Е. Герцык, в основе юродства лежит «порой непонятное для разума втаптывание духа в грязь мира» [6, с. 101], при этом «юродивый то плюет на храм Божий и богохульствует, то вдруг голубиностью своей возлетает над самой святостью» [там же]. Подобное неровное и часто эпатирующее отношение к религиозности присуще и Поплавскому – в его

понимании «*религиозный человек необходимо немного аморален*»¹ [16, с. 299]. Характерна запись в дневнике от 1934 г. о творчестве: «Не пиши систематически, пиши животнo, салом, калом, спермой, самим мазаньем тела по жизни, хромотой и скачками пробужденья, оцепененья свободы, своей чудовищности-чудесности... Попытайся дать почувствовать, как тебя мучает Бог, как ты его ненавидишь за это, как античное животное, за которым охотится сильнейший его, как травит тебя Бог в твоём мифологическом болоте, как преследует, тяжело дыша ... » [16, с. 380–381]

Как и скоморох, юродивый также принадлежит смеховой культуре, однако смех юродивого полон скорби, и «смеяться над ним могут только грешники <...>, не понимающие сокровенного, “душеспасительного” смысла юродства. Рыдать над смешным – вот благой эффект, к которому стремится юродивый» [15, с. 81]. Подобные наблюдения о смехе юродивых созвучны специфике религиозности Поплавского, на которую обращал внимание Н. Бердяев: «Он ищет Иисуса униженного, слабого, обливающегося слезами. Ему близко лишь уничтожение Христа, Его кенотический образ. И совершенно чужд царственный образ Христа ... » [3, с. 445] Размышляя о природе православия в рецензии на «Путь», Поплавский отмечает в этом направлении христианства «особую софическую атмосферу», которая отражена «в несказанной нежности песнопений, в кротком культе юродства и нищеты, в коленопреклонении, в молчании, в мистической темноте православия» [16, с. 84]. По этой причине, с его точки зрения, православный Христос «трости надломленной не переломит, он весь в жалости, всегда в слезах ... » [там же].

В этом отношении показательна также статья Поплавского «О мистической атмосфере молодой литературы в эмиграции» (1930), где он, упрекая Пушкина за иронический характер некоторых сочинений, замечает, что для русской души «все серьезно, комического нет, нет неважного, все смеющиеся будут в аду» [16, с. 47]. В статье «По поводу...» данная мысль получает развитие: «Лермонтов – первый русский христианский писатель. Пушкин – последний из великолепных мажорных и грязных людей Возрождения. <...> Лермонтов огромен и омыт слезами, он бесконечно готичен. “Ибо христианин – это тот, кто часто плачет, тот же, кто плачет постоянно, – тот святой”» [16, с. 78].

Характерное для Поплавского, по выражению Е. Менегальдо, «недоверие ко всем религиозным институтам» [13, с. 215], которое регулярно раз-

¹ Здесь и далее в цитатах курсив Б. Поплавского. – А.С.

водило его с разного рода религиозными общинами и толкало на путь мучительных индивидуальных духовных поисков, созвучно неортодоксальности юродивого. Последний также «состоял в чрезвычайно своеобразных отношениях с церковью» [15, с. 130], и даже локусом его деятельности была паперть – «нулевое пространство, пограничная полоса между миром светским и миром церковным» [15, с. 131]. А.М. Панченко также обращает внимание на то, что социальная значимость юродивых и церкви всегда находилась в противофазе: влияние юродивых возрастало в те времена, когда церковь переживала кризис [15, с. 132].

Очень много от блаженного было и в эмигрантском образе жизни Поплавского. Как отмечает В. Казак, его «жизненные условия... были крайне тяжелыми, он жил в нужде, часто и в нищете» [10, с. 613]. Знакомые поэта подтверждают это свидетельство: «Бывали периоды, когда Поплавский не имел ничего – кроме пары худых штанов и рваной фуфайки на смуглом теле» [4, с. 86]. В то же время подобный аскетизм был не только вынужденным, но и сознательным его способом приблизиться к Богу в своих духовных поисках: «В совершенном покое, до отказа “выкатив” коричневую грудь, прохожу я одною ногою по воде (левая подошва пьет воду), другою ногою в огне (правый резиновый башмак греет), нарочно усиливая, сгущая нищету своего лица (не бреюсь) и своего платья (люблю рвань), тогда, когда я победил всякую жажду и усумнился в счастье Иисуса» [16, с. 432–433]. В письме Ю. Иваску от 1932 г. он признается: «меня *только христианство* удерживает от чистого коммунизма, ибо я всею душою ненавижу деньги и их мораль» [16, с. 484].

Стержневой смысл подвига юродства заключался в отказе праведника от собственной личности, в его растворении в людской массе. Неслучайно инициационным эпизодом юродской агиографии часто становилось принятие блаженным иного имени, которое не связано с его мирским прошлым. В этой связи характерны наблюдения Бердяева, который видел основной недостаток в отношении Поплавского к миру в его «имперсонализме», поскольку «с этим связана крайняя изменчивость, которая находится на грани измены самому себе» [3, с. 445]. В письме Ю. Иваску от 1930 г., описывая нравы русской богемы в Париже, Поплавский жертвенно заявляет о своей готовности к саморазтворению в толпе: «Эту среду я люблю, всех жалко, и хочется быть таким же. То есть спать на улице, напиваться и плакать» [16, с. 482]. В сходном ракурсе предстает в дневниках и его Иисус – «неученый, низкого происхождения, дрожащий от страха, водящийся с порочными» [16, с. 427]. Для поэта, по его собственному признанию, «абсолютно инди-

видуального нет ничего. Абсолютно несимптоматичного, не отражающего целое духовной жизни...» [16, с. 412] Творческий процесс в его системе координат – явление имперсональное, подобное откровению: «не я думаю, а мышление происходит во мне...» [16, с. 428].

Общеизвестно тяготение юродивых к глоссолалии, к изречению фраз, смысл которых непонятен обывателю: «Юродивый в жизненной практике демонстрирует использование иносказания, тропа, активизирующего сознание реципиента. Привлекательность этого приема – в выделении несколько туманного, зато широкого и объемного значения» [14, с. 104]. По словам Н. Берберовой, в Поплавском также «была “божественная невнятица”, чудесная образность видимого и слышимого» [2, с. 315]. Как вспоминал Н. Татищев, «главной и единственной темой размышлений, писаний и разговоров Бориса был страдающий, убиваемый и почти не понятый Христос.

– Почему ты пишешь об этом непонятно? – спрашивали Поплавского.

– Потому что об этом нельзя прямо сказать, ни одного слова...» [16, с. 503]

Уже в ранних дневниках (от 1921 г.) он замечает: «Творчество, что та же молитва» [16, с. 188]. Для Поплавского «поэтическое озарение всегда таинственно и религиозно» [16, с. 503]; поэзия «есть рассказ о том, как Бог... пронизывает человека» [16, с. 413]. Как и юродивый, Поплавский презирает рассудочное знание, обращаясь напрямую к подсознанию и черпая силы для творчества именно в нем (наглядное подтверждение тому – «Автоматические стихи»). В статье «Заметки о поэзии» он выводит свое поэтическое кредо, можно сказать, в духе андреевского «вестничества»¹: «Не следует ли писать так, чтобы в первую минуту казалось, что написано “черт знает что”, что-то вне литературы? Не следует ли поэту не знать – что и о чем он пишет?» [16, с. 19] Явственно различимо в данном фрагменте представление о поэте как о некоем орудии высших сил, для которых он выступает не более чем проводником, медиумом. В другой статье («Об осуждении и антисоциальности») Поплавский развивает эту мысль: «Сейчас можно писать лишь для тайновиденья и удовлетворения совести, и лучше всего темным сибиллическим языком Джойса и Жуандо. Литература возможна для нас сейчас лишь как род аскезы и духовиденья, исповеди и суда...» [16, с. 60] Размышляя в

¹ «Вестник – это тот, кто, будучи вдохновляем даймоном, дает людям почувствовать сквозь образы искусства в широком смысле этого слова высшую правду и свет, льющиеся из миров иных» [1, с. 534]. Хотя трактат «Роза мира» был закончен только в 1958 г., очевидно, насколько подобный мистический угол зрения был близок Поплавскому.

статье «По поводу...» об автоматическом письме, он недвусмысленно обозначает генезис своего творческого метода: «Этим способом искони пользовались медиумы и визионеры...» [16, с. 80]. Рассуждая о поэзии как о «темном деле», Поплавский продолжает развивать тему экстатического творчества: «такой стихотворец, как во сне или в припадке, бросается в свое стихотворение; <...> и только тогда стихотворение есть откровение, и поэзия больше стихотворца» [16, с. 20].

Верный дионисийской стороне ницшеанской дихотомии, Поплавский в статье называет Аполлона «упадочной любовью греков», тем самым указывая на несостоятельность его проявлений в поэтическом творчестве. Очевидно, что юродствующему также гораздо ближе дионисийское начало, с его культом вакхической разнузданности, интуиции, экстаза и вдохновения. В художественной системе Поплавского, как и в случае юродивого, слово, будучи сакральным, для обывателя должно оставаться «темным». В этой связи показательны наблюдения А.И. Чагина, который отмечает, что поэтическое слово в творческой лаборатории Поплавского было «сродни ноте или аккорду в симфонии», т.к. его смысл часто заслонялся общим мелодическим потоком, ведь Поплавскому было важнее, «как сливается, переплетается это звучащее мгновение с другими, участвуя в создании единой мелодии» [18, с. 170–171]. Этим же, по мысли исследователя, объясняется активное обращение поэта «к заведомо “неточным словам”», которые были ему необходимы в осуществлении «более важной... “музыкальной” задачи» [18, с. 171]. В статье «Среди сомнений и очевидностей» (1932) Поплавский заметил: «Художник прав, лишь когда пифически, пророчески импульсивен, но как личность – вполне пассивен относительно своего духа; он как бы мист (участник мистерии) подземного экстатического культа, и как далеко от него рациональное, произвольное творчество инженера или метафизика – строение сознательное и волевое, идеал дневного надземного солнечного культа...» [16, с. 112].

Разграничивая русское юродство с византийским, С.А. Иванов отмечает, что именно на Руси «“похабство” на поздней своей стадии превращается в форму общественного протеста...» [9, с. 376], поскольку в качестве отдельного института юродство складывается одновременно с самодержавием и воспринимается обществом в том числе и «как форма божественного контроля за властью» [9, с. 265]. В художественном сознании Поплавского также можно расслышать бунт – этический и эстетический. Подобно юродивому, он декларирует отказ от всего прекрасного внешне и, следовательно, от искусства (в связи с чем весьма характерны рассуждения о «правильно по-

нятом художественном анархизме» [16, с. 412]): «Искусства нет и не нужно. Любовь к искусству – пошлость, подобная пошлости поисков красивой жизни» [16, с. 45]. В статье «По поводу...» он восклицает: «С какой рожей можно соваться с выдумкой в искусство? Только документ. И разве святые и мистики выдумывали?» [16, с. 78] По замечанию Г. Адамовича, Поплавский тяготел «к разрушению форм и полной грудью дышал лишь тогда, когда грань между искусством и личным документом, между литературой и дневником начинала стираться» [4, с. 14–15]. И действительно, сама мысль о читателе как соглядатае тех или иных движений души автора рождает в Поплавском отрицание литературного труда как формы кокетства. В 1930 г. он пишет: «Хочется быть красивым и замечательным. Конец. Эстетика. Пошлость. Литературщина. Но нельзя и в жизни жульничать и писать хорошие стихи. У жуликов не только особые повороты головы и особые манеры, но и особые стихи. А не жульничать – значит терпеть поражения...» [16, с. 47]

В этой связи литература приемлема для Поплавского лишь как «аспект жалости» [16, с. 46], ее эстетическая ценность в статьях им опровергается (едва ли она, впрочем, опровергается его музыкально-совершенной поэзией, что в очередной раз подтверждает мысль о парадоксальности и противоречивости его суждений): «Разве всякая красота не зловеще отвратительна в своем совершенстве... Красивая и чистая духовная жизнь – такая же пошлость, как и красивое искусство» [16, с. 45]. Мещанские идеалы его современников, пусть даже и высокоинтеллектуальные, не могут удовлетворить тоскующей по Абсолюту души поэта: «цели человечества, великое отвращение к коим характеризует “святую болезнь” его творческих душ, – чувствительно-утилитарная сияя птица джеклондонского Мартин Идена в интеллектуально-утилитарной цели» [16, с. 253].

Логически закономерным продолжением этой мысли становится бунт Поплавского против обывательского благополучия, которое закрывает человеку духовное зрение и низводит его до уровня филистера. Невозможность разделить судьбу всех «неудачников» вызывает в его душе едкое чувство стыда: «Стыдно быть счастливым, стыдно быть красивым, стыдно быть умным, стыдно быть, когда столькие вкушаемы червием...» [16, с. 297]. Известно, что юродивые сознательно стремились к гонениям, чтобы хоть отчасти уподобиться Христу в Его страданиях. Для Поплавского также весьма характерна органическая неспособность к индивидуальному благополучию: «Христос, Сократ и Моцарт погибли и сиянием своего погибания озарили мир. Ясно, что удаваться и быть благополучным – греховно и мистически неприлично. Может быть, даже и духовно погибать необходимо – агонизиро-

вать нравственно» [16, с. 46]. Таким образом Поплавский указывает на цену духовного совершенства; отмечает, что после Христа уже «невозможно радоваться», поскольку Он «отравил нам, удачникам, источники жизни» [16, с. 297]. В дневниках бунт Поплавского выглядит еще более эпатазирующим: «Жирное самолюбование полунощных удачников, бросающих вызов мщению неба. О вы, с утра в шелках, в полдень в ярких одеяниях, ведущие приличные беседы и вполне доступные прикосновению, насколько мне милее зловонная нагота пустыни, усеянной античными руинами, скорпион, запутавшийся в волосах, и рот, полный дерьма. Безумная сила добровольно принятой муки...» [16, с. 385–386] По его словам, «правда... жалости и смерти требует равнодушия к своей удаче» [16, с. 324], а логическим итогом следования этому вектору в земном существовании часто оказывается «смерть под забором от слез, с совершенно растерзанным сердцем, не смоги никому помочь, прокляв, в сущности, жизнь» [там же].

Продолжает данную мысль статья «С точки зрения князя Мышкина» (1933), где в исповедальной форме приводится апология культа поражения и неудачи: «В общем, я всегда мечтал быть тем неотразимым клоуном с солнцем на груди и луной на спине, который так хорошо играет на мандолине и на все имеет ответ, а оказывался вечно именно другим, его партнером, который всегда под самый конец теряет огромные штаны и уходит с трагическим видом и яичницей на голове» [16, с. 134]. Было бы лишним упоминать, насколько помещенный здесь в сильную позицию заглавия образ князя Мышкина также близок юродивому (неслучайно Достоевский дает своему роману столь красноречивое заглавие).

Ключевой и «программной» для раскрытия специфики воплощения традиции юродства в художественном сознании Поплавского является его статья «Об осуждении и антисоциальности», в которой он сопоставляет уход Толстого и Рембо от литературной деятельности и – шире – от человеческого общества. В поступке Толстого, по мнению Поплавского, не было никакого величия, поскольку Толстой решился на него уже в столь преклонном возрасте, что его бегство представляется поэту не лишенным расчетливости. В Рембо же, напротив, Поплавский видит подлинное величие души – души, которая постигла суть литературной среды и ужаснулась ей: в лице Рембо, по его словам, «литературный мир встретился на мгновение с чем-то совершенно противоположным, совершенно неподкупным и твердым, как алмаз» [16, с. 56].

Интересно, что в Рембо Поплавский выделяет те особенно ценные для него черты и поступки, которые характерны для юродивого: «И никто не

мог понять, почему так груб был он всегда, как будто ему всегда было стыдно за тех, с кем он говорил. Не могучи вынести, мучаясь нестерпимо, Рембо часто, не заходя домой, уходил куда глаза глядят на целые месяцы под дождем и снегом “есть воздух, землю и камни”» [там же]. В связи с этим показательны воспоминания современника Поплавского о его выступлении на вечере Союза молодых поэтов: в тот день он активно защищал «грубость в искусстве <...>, необходимую в трагические эпохи. Упомянув о греческих циниках, нарушавших “хороший тон” во имя правды, он призывал писателей следовать их примеру и заниматься самыми серьезными вопросами, ибо “никто не имеет права говорить о ‘хорошеньком’, пока существует хоть один страдающий”» [19, с. 258–259]. Очевидно, насколько в апелляции к греческому кинизму Поплавский близок юродивым, которые также испытали влияние кинической традиции. Далее в упомянутой статье рассуждения Поплавского практически воспроизводят диалектику мышления юродивого: «Ненавидеть мир, ненавидеть себя, ненавидеть человека – такая это свобода, должно быть, какая неподкупность; ибо, все жалея, будучи снисходительным ко всему, не теряем ли мы мерило, снисходя, не опускаемся ли сами. <...> ... именно ненавидеть себя очищает душу. Абсолютный ненавистник не обладает ли чем-то, во имя чего, сравнивая с чем, он ненавидит, ненависть за правду есть подвижничество, и оно почти столь же трудно, как и подвижничество любви» [16, с. 57].

В дневниках, намеренно превращенных Поплавским в беспощадный протокол разнообразных движений души, пребывающей в мучительных поисках Бога, обращает на себя внимание столь же категоричная требовательность к себе: «вместо 4-й молитвы заснул, как скот» [16, с. 237]; «заснул, не молясь, как свинья» [16, с. 204]. Подобные свидетельства перекликаются с наблюдениями С.А. Иванова, который отмечает негативный максимализм юродивого: последний «хочет взорвать мир, потому что тот “тепла, а не горяч и не холоден”» [9, с. 382]. В статье «Об осуждении и антисоциальности» Поплавский отстаивает принципиальное право писателя быть маргинальной, выпавшей из системы общественных отношений фигурой, ведь, в соответствии с эсхатологическими прозрениями поэта, «мир сейчас больше, чем когда-нибудь, нуждается в осуждении, в изобличении его неподкупными» [16, с. 59].

Таким образом, в художественном сознании Бориса Поплавского различимы контуры традиции русского юродства, которая преломляется не только в его миропонимании, но и в нарочито затемненной поэтической ткани его стихов. Характерные для Поплавского парадоксальность мышления,

провокационность, религиозный максимализм, бунт против красоты и житейского благополучия, стремление к экстазу, аскетизму и отречению от собственного «я» запечатлелись в его статьях и дневниках, проецируясь и на поэтику художественных текстов, по отношению к которым он видел себя скорее скриптором, чем автором, ведь их происхождение, по его представлениям, имело имперсональную, надличностную природу.

ЛИТЕРАТУРА

1. Андреев Д.А. Роза мира. СПб., 2020. 864 с.
2. Берберова Н.Н. Курсив мой. Мюнхен, 1972. 709 с.
3. Бердяев Н.А. По поводу «Дневников» Б. Поплавского // Современные записки. 1939. № 68. С. 441–446.
4. Борис Поплавский в оценках и воспоминаниях современников. СПб.; Дюссельдорф, 1993. 184 с.
5. Гаврилов В.В. Творчество Н. Глазкова как апология свободы // Филологический вестник Сургутского государственного педагогического университета. 2020. № 1. С. 82–92.
6. Герцык Е.К. О Путиях / Бонецкая Н. К. Антроподицея Евгении Герцык // Вопросы философии. М., 2007. № 10. С. 89–120.
7. Горичева Т.М. О священном безумии. Христианство в современном мире: философские эссе. СПб., 2015. 580 с.
8. Заринов И.Ю. Игра как основа и фактор культуры: лицедейство – юродство – шаманство // Вестник антропологии. 2021. № 2. С. 198–213.
9. Иванов С.А. Блаженные похабы: Культурная история юродства. М., 2005. 448 с.
10. Казак В. Энциклопедический словарь русской литературы с 1917 года / пер. с нем. London, 1988. 922 с.
11. Летаева Н.В. Феномен жалости в прозе младшего поколения русских писателей первой волны эмиграции // Ученые записки Новгородского государственного университета. 2021. № 3 (36). С. 287–290.
12. Матвеева Ю.В. Творчество Бориса Поплавского: к вопросу культурной и языковой идентификации // Сибирский филологический журнал. 2008. № 3. С. 75–80.
13. Менегальдо Е. Поэтическая вселенная Бориса Поплавского. СПб., 2007. 264 с.
14. Мотеюнайте И.В. Восприятие юродства русской литературой XIX–XX веков. Псков, 2006. 302 с.
15. Панченко А.М. Смех как зрелище // Лихачев Д. С., Панченко А. М., Поньрко Н. В. Смех в Древней Руси. Л., 1984. С. 72–153.

16. *Поплавский Б.Ю.* Собр. соч.: В 3 т. Т. 3: Статьи. Дневники. Письма. М., 2009. 624 с.
17. *Федотов Г.П.* О парижской поэзии // *Федотов Г.П.* Собр. соч.: В 12 т. Т. 9: Статьи американского периода. М., 2004. С. 16–24.
18. *Чагин А.И.* Пути и лица. О русской литературе XX века. М., 2008. 600 с.
19. Числа. 1930–1931. № 4. 296 с.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

Семина Анна Андреевна – кандидат филологических наук, преподаватель кафедры истории новейшей русской литературы и современного литературного процесса Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова;
e-mail: seminaaaa@yandex.ru.

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Anna A. Semina – candidate of philological sciences, teaching fellow, Department of the History of Modern Russian Literature and Contemporary Literary Process, Lomonosov Moscow State University;
e-mail: seminaaaa@yandex.ru.